

**Некрасов Виктор**

**Девятое мая**

Виктор Платонович Некрасов

## ДЕВЯТОЕ МАЯ

Продрав глаза, Карташов протер их еще раз, два и так и не смог понять, что же это за комната, в которой он лежит на диване, прикрытый мягким, клетчатым пледом. Спал он в измятой рубашке и трусах, штаны валялись на полу, одна штанина на изнанку. Значит, крепко поддал. Обычно, даже при порядочном подпитии, он аккуратнейшим образом всё развешивал на спинку стула, сначала брюки, затем рубаху и поверх всего пиджак. Пиджака он не обнаружил. Туфли валялись в противоположном углу.

Окно было занавешено тяжелой портьерой. Ночь или день? Не ясно. На часах без пяти шесть. Утра, вечера?

Он включил свет, кнопочка оказалась над самой головой и, приподнявшись на локте, огляделся по сторонам. Комната была небольшая, сплошь увешенная фотографиями. Разобрать, что на них изображено, было трудно, только лицо молодого человека на портрете над столом показалось вроде знакомым. Улыбающийся, стриженный под бокс парень, в немецкой форме, на груди Железный крест. Хозяин, что ли?

Перебрал, гад чертов, перебрал-таки... Напрягся, попытался сосредоточиться, восстановить ускользающую цепь событий.

Последнее, что он помнил, это как они пили с этим сталинградским летчиком - Дирк, что ли, или Дитрих - и тот усиленно зазывал его к себе, в Гамбург. "За полчаса докатим, пятьдесят километров, чепуха..." Может, он сейчас в Гамбурге, у этого самого Дирка-Дитриха? Но как

они ехали, садились в машину, как приехали? А приехавши, вероятно, опять же пили...

Прощался ли он с хозяевами? Уславливался ли о чем-нибудь? И где все остальные? Где чемодан?

И вдруг обнаружил, что на ночном столике у изголовья стоит стакан, а рядом очищенный мандарин. Стакан не пуст. Понюхал. Хо-хо! Позаботились-таки милые люди... Впрочем, Дирк-Дитрих сколько-то там лет провел в плену, русские повадки знает. По-видимому, он-таки у него.

Встал. Не очень-то уверенной походкой подошел к окну. Приоткрыл штору. Светает. Или смеркается. Людей на улице нет, воскресенье, что ли.

Вернулся к ночному столику. Малость поколебался, но стакан всё же осушил. Дурной признак, но что поделаешь.

Направился к двери, приоткрыл. Столовая. На столе бутылки, - значит, пили все-таки, - тарелки с чем-то недоеденным. На диване человек, прикрытый пиджаком, ноги голые. Похрапывает.

Карташов обошел вокруг стола, задел и уронил стул. Человек проснулся. Заморгал глазами. Матюкнулся. Это был-таки Дитрих-Дирк, сталинградец.

- Ничего себе... - сказал Карташов.

Сталинградец сел, похлопал себя по впалому животу - хар-р-рашо!

- Что ж хорошего? Голова трещит.

- Пить надо, вот что...

Сталинградец натянул пиджак на голое тело, встал и подошел к столу.

- Коньяк, "Столичная", "Смирновская". Хо-хо!

- Слушай, Дирк, а я думал, что ты немец, а выходит...

- Почему Дирк? Я не Дирк...

- А кто?

- Хельмут.

- А кто же Дирк?

- Дирк хозяин. Вчера пили у него. Это он выставку придумал.

- Господи, - выдохнул Карташов. - Тогда пошли. За Дирка!

Как выяснилось, было действительно раннее утро. И воскресенье. Потому и улицы пусты. А когда же заснули? Долго ли еще перед этим пили, а, Дирк? Виноват, Хельмут...

Постепенно картина вчерашнего дня прояснилась. Вернисаж прошел хорошо. Даже очень, как утверждал Хельмут. Народу собралось человек двести, а то и больше. Это очень много для маленького Люненбурга. И речей много. Директор галереи, бургомистр, президент или как его там, ланда, (земли, по-русски), секретарь облисполкома или обкома даже. И писатель, приехавший из Парижа, тоже...

- Кстати, куда он делся? - поинтересовался Карташов. - Его всё время оберегали, чтоб не выпил лишнего.

- По-моему, не уберегли, - Хельмут рассмеялся. - Он сразу же утащил одну бутылку в ванную и время от времени скрывался там... Он у Дирка спит, надо думать.

После третьей или четвертой рюмки выяснилась еще одна немаловажная деталь. Оказывается, Карташов, несмотря на обильное возлияние, а может быть, благодаря ему, умудрился всё же реализовать несколько картин. Пять, кажется. Маленьких, правда, но по тысяче марок за штуку, не так уж плохо.

Выпили за успех.

- Да! - спохватился вдруг Хельмут. - Я ж обещал подарить тебе один подарок... Минутку.

На столе появилась папка. В ней фотографии. Бутылки временно были отодвинуты.

- Вот, пожалуйста. Это мой "Фокке-Вульф"-189. Вы называли "рама". Рекогносци...ровальчик. А это я. Молоденький еще, а? Мальчик... А это ваш Мамаев курган.

- А ну, а ну?

- Снимал в октябре. Ты был уже там?

- А как же. С пятого октября. Ночью переправились... Лупы нет?

Хельмут принес лупу, и Карташов стал разыскивать на фотографии свои окопы. Нет, окопы обнаружить не удалось, - это сейчас, говорят, со спутников снимают так, что заголовок газеты можно прочесть, - но баки, эти чертовы баки на верхушке Мамаева кургана были хорошо видны. И железная дорога, делавшая петлю у его подножья, и завод "Метиз" и даже мясокомбинат, в подвале которого заходился КП 1-го батальона...

- А это я, - сказал Карташов. - Видишь белую точку? Это я, у меня был белый тулуп.

- Тогда будем пить про тебя! - Хельмут потянулся за бутылкой.

- А я за тебя, Фриц! Кстати, за что ты Железный крест получил? Это твой портрет в кабинете, над столом?

- Мой. Только не Железный, нет, не дали, это Мерит Крейц, как это, за услуги.

- За заслуги, верно?

- Да. За заслуги. Только нет этого, сабля, меч. Второй класс. Вроде ваша звездочка.

- Не очень-то, - усмехнулся Карташов, у него была именно "Красная Звезда". - У нас считался бабьим орденом - сестричкам давали, связисткам, командирским пэпэжэ...

Они опорожнили все бутылки, остатки от вчерашнего и Хельмут, отяжелев вдруг, сказал:

- Знаешь, я, кажется, опять спать. По-ке-ма-рю, по-вашему.

- А ты по-нашему здорово шпаришь. Почти без акцента. Сколько в плену пробыл?

- Восемь год.

- Где?

- Сибирь. Недалеко Омск.

- Не был, не был в тех краях...

- А я вот был. Даже любил.

- Что любил?

- Не что, а Катю.
- Катю? Русскую?
- Русскую. Подавальщица.

Карташов хлопнул Хельмута по спине.

- Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...  
Не плохо устроились, кригсгефангены...

- Да, вашим хуже было.

Карташов хотел что-то ответить, но раздумал.

- Ладно, ложись. А я разминочку сделаю, воздухом подышу.

- У нас тут парк рядом, хороший, лебеди плывут.

- Лебеди, лебеди... А где твоя жена, фрава?

- Нету...

- И не было?

- Была...

- И?..

- И нету...

Помолчали.

- Ладно, я пошел... Дай мне денег каких-нибудь, у меня только франки.

Хельмут стал рыться в карманах пиджака. Что-то нашел.

- Не загуляешь?

Карташов рассмеялся:

- С моим-то немецким?

- А водка по-немецки тоже водка. Пол-литра я тебе дал, даже больше.

Карташов сделал вид, что обиделся.

- За кого ты меня держишь? За алкаша, что ли?

- Вот именно...

Оба рассмеялись.

- Не хами, фриц. Шлафен, шлафен, а я немного шпацирен. Нихт дринкен...

Но "нихт дринкен", не пить, не получилось.

Парк был пуст, киоски закрыты. Ну лебеди, ну утки. Лебеди такие красивые, изящные в воде, на берегу оказались вдруг грузными, неэстетичными, лениво топающими вразвалку и очень агрессивными, всё время ссорились между собой... Тем не менее, покормил их какими-то крошками, оказавшимися в кармане.

Да, забавно все это, - думал Карташов, обойдя весь пруд и примостившись перекурить в какой-то беседке, он не любил курить на ходу. Забавно... Через сорок лет, в каком-то Гамбург-ге, проснуться и обнаружить рядом стакан водки, ну, не стакан, пол-стакана, и очищенный мандарин, а потом продолжать опохмелку с гитлеровским кавалером Креста „За услуги“, правда, говорит, без мечей, с обер-лейтенантом, который фотографировал тебя, старшего лейтенанта, со своей чертовой "рамы", с первыми лучами солнца появлялась она над твоим Мамаевым курганом... Бывает же такое... Он, этот самый, как выяснилось, Хельмут, а не Дирк, еще на вернисаже подошел к нему и ,весело улыбаясь, спросил: "Я слышал, вы тоже сталинградец. Где стояли?" Потом, на приеме у Дирка, всё подливал и подливал. Ненадолго возле них



появился и писатель, - "А нельзя на троих?", - тот самый, за которым надо было следить, он тоже оказался сталинградцем. Но вскоре куда-то исчез, так и не выяснив с Карташовым, были ли они соседями на Мамаевом кургане. Успел, правда, рассказать, про письмо от одного немца, который тоже воевал в Сталинграде. У вас в книге, пишет, рассказано о том, как герой, вернувшись из госпиталя, обнаружил в штабной землянке трофейный аккордеон. "Так вот, в Шестой нашей армии, аккордеон был только у меня и меня часто приглашали то туда, то туда. Потом меня ранило и эвакуировали в тыл. А аккордеон остался. Не о нем ли вы написали? И какова его дальнейшая судьба?" Ничего себе фриц?

Выяснилось вдруг, что нет сигарет. И сразу же появилась цель. (Вторая, подспудная, тут же всплыла и присоединилась). Вышел через другие ворота на улицу. Чистенько, подметено, ни бумажки, ни собачьей кучи - не Париж, нет но всё, будь оно неладно, закрыто. Не без труда обнаружил какого-то немца "сигаретен, сигаретен?" Тот задумался, потер переносицу, сказал "хабен" и указал на трамвайную остановку. "Цвай унд драйциг, битте". Карташов понял, что тридцать вторым номером надо добраться до гавани, до порта. Трамваи, слава Богу, уже ходили. Подошел 18-й, 16-й, наконец, 32-й, длинный, желтый, с рекламой на крыше "VODKA PUSCHKIN". Весьма символично, подумал Карташов и сел в пустой вагон.

Ехали долго, через весь город, позвякивали на каждой остановке. Пассажиров почти не было, два-три за всю дорогу.

Наконец, приехали. Вагоновожатый сказал: "Энд-стацион" и вышел. Карташов тоже.

Краны, краны, краны... Пароходы. Очень много. Один вплотную к другому. Карташов ожидал моря, но оказалась река, очень широкая, но река. Эльба... Гамбург стоит на Эльбе - вспомнил школьную географию. Ну и черт с ней, с Эльбой, где же тут кабаки? И кабак обнаружился. Под названием "Акапулько". Это сразу же как-то развеселило.

"Морген!" - сказал он, входя в "Акапулько". "Морген", - ответил из-за стойки толстый хозяин в удивительно чистом фартуке.

- Сигаретен. "Голуаз" унд айн бир, - и, подумав, добавил, - битте!

Ему принесли очень высокую кружку очень холодного пива, но "Голуаз" не оказалось и вместо него дали "Кэмэл", тоже крепкие. Потом попросил за чем-то газету - "цайтунг!" - и перед ним положили на выбор три цайтунга, все на папках. Он выбрал ту, где было больше фотографий и стал их рассматривать.

И вдруг... Вдруг обнаружил, листая газету, что сегодня не больше, не меньше, как девятое мая, День Победы.

День Победы!

Господи, сколько было выпито в этот день тогда. Тогда... Сколько это лет прошло? Тридцать... Тридцать восемь лет. Ну и цифра... Тридцать восемь! Страшно даже подумать. Сколько ж было ему в сорок пятом? Двадцать пять? Двадцать шесть? А сейчас...

День Победы... А он сидит в каком-то занюханном гамбургском портовом кабаке и не с кем даже чокнуться... Люненбург, где Зеленин, Леонов и Шелковский, далеко, за пятьдесят километров, да никто из них не воевал. Писатель, тот, правда, воевал, но с ним выпьешь, потом, в Париже, со свету сживут, ну его... Хельмут? Парень отличный, что и говорить, и крест за войну, а по-русски шпрехает что надо, и Катьку какую-то где-то там под Омском это самое... Нет, нужен свой, оттуда...

Он вспомнил рассказ, который прочитал в каком-то советском журнале. Назывался он "Знаменательная дата". Про парня, работягу, который вдруг вспомнил, проснувшись, что сегодня какая-то круглая годовщина того дня, когда он впервые вступил в бой. И решает как-то отметить его. Ста граммами с каким-нибудь фронтовиком. И, вот, из забегаловки в забегаловку, а выпить не с кем. Всё молодежь. "Для нас, папаша, это всё история... По книжкам, по кино..." К концу дня обнаружил, наконец, какого-то ханыгу, полковника в отставке, в пивном баре на Столешниковом...

М-да... До Столешникова далекоовато... Но неужели в таком городе, как Гамбург, портовом городе, со всего мира корабли, не найдется русского морячка-алкаша... Не может быть! Пусть молодой, черт с ним...

Расплатился, вышел на набережную. Озирнулся. Краны, краны... Трубы, трубы... С желтыми, белыми, красными полосами, с какими-то буквами. Наконец, обнаружил трубу с серпом и молотом. Хочешь жни, а хочешь куй! вспомнилось. Подошел ближе. Сухогруз "Первомайск", но во втором ряду. У причала такой же, только с Панамским флагом - по диагонали синий и

красный квадрат, по другой - синяя и красная звезда - когда-то марки собирал, вспомнилось. Походил, походил, взад и вперед, с панамского сошло несколько человек, советский был мертв, и на палубе никого.

„Не пускают, гады, - подумал Карташов, - контактов боятся...“

И в этот момент увидел троих. Шли рядышком, какие-то унылые, не торопясь, останавливаясь у каждой витрины. Все трое в кепках, пиджачках. Пошел вслед за ними.

Первые дни, месяцы после демобилизации долго еще снились всякие бомбежки, "Юнкерсы", "Хейнкели", верткие "Мессера", артобстрелы. Потом всё реже и реже. А сейчас? Прошло столь-ко лет, а годы эти, кровавые, страшные, кругом смерть, - вспоминаются ну, не с нежностью, и вовсе не как героические, но вроде как чистые, незапятнанные. В госпиталях было просто отлично, благо, оба раза был ходячим. Врачи, сестрички, ребята по палате все хорошие. Палата офицерская, двадцать шестая.

Трое лейтенантов, два капитана, ну и один солдат, на побегушках, за выпивкой, базар рядом, в двух кварталах. "Пейте, ребята, - молила заведованием пышнотелая Ася Аркадьевна, - пейте, но, молю вас, только в палате. Не пикируйте, Христа ради, засекут, мне же неприятности будут..." Иной раз и сама забежит, пригубит слегка. Старше майора в камеру не принимали. Политруков тоже, от ворот поворот. "Политработник?" - "Да" "Вали отсюда. Здесь воевавшие. Попробуй в тридцатую, может примут".

Хорошо в госпитале.

Да и на передовой не всегда стреляют. Декабрь, январь в Сталинграде совсем тихими были. Относительно, конечно. Но бомбежек не было, артобстрелов тоже, так, из минометов шпарили. И землянки, как говорил украинец Охрименко "добре отладнані". Тюфяки, подушки, кастрюли, посуда из развалин солдаты натаскали. Кое у кого - у артиллеристов, у начальника связи, на КП первого батальона - патефоны, Шульженко, Утесов, Бернес... У разведчиков всегда есть, что выпить. Вот это и вспоминается...

А день рождения? Это, правда, уже после Сталинграда, на Украине, перед самой Курской дугой. Припухали. Молоко, сметана, девчата. Стояли в селе Червонотроицкое, жили "по хатам", форсили, всовывали целуллоид в недавнопоявившиеся погоны, придумывали себе какие-то кортики, за которые начальство наказывало, но всё равно, все носили. К оружейникам была очередь - там делали из плексигласа ручки к саперным ножам... Благодать.

И подвернулся день рождения. Саперы, с ними была дружба, соорудили самогонный аппарат и комвзвода Кучин цедил потом целую неделю живительную влагу в котелки и фляжки. В субботу вечером собралось в хате человек двадцать, не меньше. Командиры батальонов, рот, спецподразделений. Хорошо выпили, закусили. Хозяйская Оксанка и ее подружки соорудили даже холодец, где-то достали и поджарили двух петухов...

А на утро... Чуть свет явился связной командира полка. "К себе вызывают, срочно!" Явился пред светлые очи, руки по швам.

- Выспался, капитан?

- Выспался, товарищ майор.
- Голова не болит?
- Никак нет, товарищ майор.
- Это хорошо.

Помолчал.

- А ты, вроде, из интеллигентной семьи? А? Мамаша, если не изменяет память, врач?

- Так точно, товарищ майор.

- Эх ты, капитан, постыдился бы... Так вот... - ироническая интонация сменилась строгой. - Аппарат самогонный уничтожить! А Кучина, командира взвода, на десять суток. Ясно?

- Ясно, товарищ майор.

- Кругом, шагом марш!

Карташов по всем правилам козырнул и повернулся через левое плечо. Когда взялся за ручку двери, майор окликнул его.

- Капитан!

- Слушаюсь...

- Голова ты все-таки, садовая, - майор печально и протяжно вздохнул. На следующий раз, заруби себе на носу, будешь юбилей праздновать, приглашай командира полка. Ясно? Иди...

Хороший был майор, ничего не скажешь. Пытался даже после войны разыскать его, увы, не нашел... А аппарат пришлось, все-таки, сломать. Ну, а Кучин отделался одними только сутками.

Вот такое и вспоминается теперь. А бомбежки и "Юнкерсы"? Ну были, ну чего вспоминать. И отступление из-под Харькова до самой Волги было. Пыль, грязь, попутные машины, подводы, пешком... Всё это тоже куда-то отдалилось, а вот 31-е января, яркий, солнечный, веселый день, когда немцы драпанули с Мамаева, помнится, как будто вчера произошло. И второе февраля, сталинградский день Победы, всё небо в ракетах, трассирующих очередях, утром еще ничего, а с полудня никто уже на ногах не держался...

Потом вереницы пленных. Документы и фотографии отбирать! Таков приказ. Ну и черт с ним! С чего это я буду у фрица карточки его Гретхен отбирать? А у каждого, поди, альбом, а то и два, с этими белокурыми медхенами и стариками-родителями... Ну и пусть.

Один только случай омрачил праздник. О нем не хотелось вспоминать. Но вспоминалось. В тот самый яркий, солнечный день где-то за Мамаевым курганом Карташов обнаружил в полуразвалившейся халупе человек десять-двенадцать раненых немецких солдат. Жалкие, замерзшие, голодные, они попросили у него курева. Он отдал им всё, что у него было. Через час-другой вернулся, притащил кое-что пожрать. Все они были убиты. Какая-то пьяная сволочь покончила со всеми автоматной очередью... Это был единственный случай жестокости, с которым столкнулся на фронте Карташов.

Но всё это было в ту войну, сорок лет уже прошло с тех пор, в ту, говорят, самую жестокую, самую безжалостную... А может, и не самую? Может, в Афганистане и пострашнее?

Карташов уже привык к тому, что первая реакция большинства советских, с которыми он сталкивался на Западе - то ли в Лувре, то ли в магазине „Тати“, самом дешевом в Париже, доступном для более, чем тощего туристского кармана - первая реакция - испуг. "Кто вы такой? Что вам надо?" Да ничего, просто услышал русскую речь и захотелось... „Ну, а тем вовсе не хотелось. Их еще в Москве предупредили, что провокации их ждут на каждом шагу, посему никаких контактов. А хотелось им только одного, чтоб поскорее вывели их из Лувра, пока не закрылись магазины.

Морячки, на удивление, оказались другими. Когда Карташов, поравнявшись с ними, спросил не с "Первомайска" ли они, те, вернее, тот, что был постарше, лет сорока, с пробивающейся уже на висках сединой, ответил без всякого там страха или даже удивления.

- Мы? Нет, мы с БМРТ. "Теодор Нетте" называется.

- БМРТ? Это что еще?

Все трое весело рассмеялись.

- Большой морозильный рыболовный траулер, дорогой товарищ.

Так и завязался разговор, закончившийся через час-полтора в том же "Акапулько", с которого Карташов и начал.

- А как насчет кружечки-другой пивца? - поинтересовался он, выяснив, что морячки без толку топчатыся по городу, все магазины закрыты, воскресенье, вот и разглядывают с горя витрины. Денег у них было не густо, чтоб не сказать просто отсутствовали, вчера малость всё же отоварились, а у Карташова целых сто марок. И все четверо двинулись в известном уже



Карташову направлении. По дороге еще бутылочку шнапса купили - какой-то магазин-щелочка оказался всё же открыт.

В "Акапулько" взяли пива, по две порции сосисок, целую гору свежих, хрустящих хлебцев и сразу же, не канителясь, выпили за День Победы.

- Великий праздник! - ставя стакан и вытирая губы сказал старший из морячков. - За него поллитра на четверых маловато.

Все засмеялись.

- Повторим, старина, не волнуйся, - успокоил Карташов. - Мы богатые. А праздник, действительно, великий.

- А вы воевали? - спросил один из молодых.

- А то как же! Он звонка до звонка.

На него с уважением посмотрели.

Карташову понравились морячки. Мальчишкам было лет по 18-19, оба ладные, крепенькие, с обветренными, медными физиономиями. Валера из Калининграда, родом же из-под Рязани, кругломордый, курносый, кудрявый, почти молодой Есенин, Петро - украинский такой пару-бок, черноглазый, чубатый, брови в разлет, с Полтавщины. Оба ели свои сосиски не тропясь, они, мол, вовсе не голодны, но от повторения и еще одного повторения не отказывались, вежливо поблагодарив и похвалив сосиски - "умеют, черт, фрицы, сочные они у них".

- Лучше калининградских? - не утерпел Карташов.

Оба только улыбнулись.

- А их там вообще нет.

Но вообще-то, за тот час-полтора, что они провели вместе, все трое порядки на родине особо не критиковали, только один раз Алексеич, как звали его ребята - он оказался то ли вторым штурманом, то ли помощником штурмана, - не удержался и сказал:

- Сами знаете, всех чернокожих кормим.

К этим, последним, отношение было скептическим - шли они сейчас из Камеруна.

- Дорвались до власти их вожди, вот и жрать нечего. При французах, говорят, лучше было, при проклятом колониализме.

В разговоре Карташов упомянул как-то Андропова, ни плохо, ни хорошо, просто, чтоб коснуться этой темы.

- А нам что, - уклончиво сказал Алексеич. - Нам что Андропов, что Брежнев, один хер. Они далеко. Нам лишь бы капитан был хороший, да помполит неприе....ся.

- А что, не повезло на него?

- А кому повезло? Баласт и всё. Рыбу, рыбу давай, да план выполняй. Да на политзанятиях чтоб не спали.

- Ну это, очевидно, и капитан требует.

- Требует, а как же. Но к себе в каюту не приглашает, как вот нашего Юрко помполит как-то позвал к себе, пиши, мол, мне кто о чем говорит. Было такое, Юрко?

- Было.

- Ну и что же ты?

- Я? А чего писать, говорю, сами знаете. Про девчат говорят и всё. Другие дрочат. Тоже докладывать? Разозлился.

Это было наиболее крамольное высказывание за всю встречу.

Но, что больше всего поразило Карташова, это деликатность морячков ни разу ни один из них, ни пацаны, ни Алексеич, не спросил его, как и почему он оказался на Западе, чем занима-ется. Будучи на порядочном-таки взводе - как-никак, и вчера, и сегодня утром - он всё сам рассказал, популярно объяснив, что не всем художникам хорошо в Союзе, а в Париже, не ахти как, но можно работать, выставляться. Вот и в Германии сейчас выставился. Парочку картин продал. Все трое вежливо слушали, вопросов не задавали. Вопросы задавал Карташов. Почему, например, в стране нет рыбы? А? Планы выполняются, перевыполняются, соцсоревнование, переходящие знамена, а рыбы нет...

- А потому, что хранить негде, - мрачно сказал Алексеич. - Вот почему. Неделями стоим у причалов, а потом, бывает и такое, рыбу разгружаем, ее увозят за город, обливают соляжкой, сжигают.

- Плохо дело. Ну, а как заработки?

- Да что заработки... Кое-что подмолачиваем. Из кожи вон лезем, бывает, по 12-14 часов разделочным этим ножом чертовым режешь рыбу, с ума сойти можно... А швартовки к плавбазам в открытом море при дурной погоде? Инфаркты у капитанов и штурманов, слышал про такие?

- Откровенно говоря, нет.

- Но главное, это, что от дома оторваны. По пять, шесть, семь месяцев в море. Молодежи-то что, - Алексеич кивнул в сторону пацанов, - а нам, женатым? Заведет хахалю и всё. Ее тоже понять надо... - он махнул рукой. Ладно. Давай о другом. Так ты, говоришь, весь Сталинград отрубил?

- Весь! И живой, как видите.

И Карташов, подобно всем фронтовикам, да еще под градусом, начал вспоминать давниш-нее, полузабытое, как какой-то подбитый танк никак не могли взять, а сколько людей перевели, но скоро заметил, что слушают его больше из вежливости, лица поскучнели и, чтоб оживить разговор, ляпнул вдруг про Афганистан. Жаль, мол, обманутых солдат. Никаких китайцев и американцев, о которых им говорили, воюют с народом. А сколько уже полегло...

Тему не подхватили, уперлись глазами в стол, стали закуривать. Только востроглазый Юрко как-то странно посмотрел на Карташова.

- А что, много погибло?

- А кто его знает, точных цифр нет, тут пишут, что тысяч двадцать. Три года всё тянется...

- М-да... - мрачно вздохнул Алексеич и вдруг, ни с того, ни с сего, после паузы, спросил, правда ли, что на могилу Высоцкого до сих пор цветы носят? Говорят, целая гора лежит и всё несут, несут.

Валера с Юрком сразу же оживились. Высоцкого они знали и любили, на их БМРТ даже две кассеты есть, кто-то в Америке достал, часто ставят. А когда выяснилось, что Карташов помнит наизусть последнюю

песню Володи, попросили разрешения записать ее, и он им продиктовал...

- Дадим Жкворикову, гитарист один у нас есть, он и музыку придумает, и споет нам, порядок...

Карташов обещал им при случае передать пару пластинок Высоцкого - вы сколько здесь простои́те? А черт его знает, неделю, может, две, чего-то там латаем... Ладно, поговорит с Хельмутом, с Дирком, может, в Гамбурге достанем... Тут Алексеич посмотрел на часы и сказал:

- Ну, пора и честь знать, ребята. Поблагодарим Вадим Николаевича за угощение, за беседу и по коням...

Взяли еще по пиву, расплатились, по очереди пожали руку толстяку-хозяину - Гут! Гут! - и вышли.

Выходя, Юрко, вроде замешкавшись в дверях, отстал и слегка сжал локоть Карташову. Тот глянул на него.

- Вы где будете через час? - спросил парень не глядя, вроде в пространство.

- А что?

- Надо.

- Ну, здесь, если надо...

Юрко кивнул головой. Те двое вроде ничего не заметили.

Расставаясь, крепко жали друг другу руки, "авось, еще когда-нибудь где-нибудь...", все остались довольны.

- Вы что, на свой БМРТ? - спросил Карташов.

- Да нет, время еще есть... Денег вот, не густо. А то бы... - Алексеич развел руками.

- "То бы" не получится, - рассмеялся Карташов, - за "то бы" строгач с занесением впаяют. А вот... - Они стояли у афишной тумбы и оттуда на них прыгал разъяренный лев. - Сходили бы в зоопарк. Гамбургский самый знаменитый в мире. Гагенбек еще организовал.

В зоопарк, так в зоопарк! И они окончательно расстались, помахав на прощание ручкой. А Карташов, взглянув на часы - без двадцати десять - сел на трамвай и поехал в центр - надо всё же какое-то представление о городе иметь.

Встречей, выпивкой остался, в общем, доволен. Конечно, это не то, что раздавить поллитровку с каким-нибудь бывшим лейтенантом или капитаном (Ты с какого? Со Второго Белорусского. А я с Четвертого Украинского. И пошло, и пошло...), но ребята ему понравились, простые, естественные, ну, чуть-чуть, может быть, и скованные, но это и понятно - человек он незнакомый, видят в первый раз. К Алексеичу своему молодые относились с понятным уважением, слушались его, но, как ни странно, не боялись. Он оказался вовсе не надсмотрщиком, как показалось сначала Карташову. Нет, спокойный, немногословный, слова свои, может быть, и взвешивает, но лозунгов избегает, так же, кстати, как и матерных слов, что особенно поразило Карташова. Поразила и какая-то достойная сдержанность молодых ребят, нет, не запуганность, а именно сдержанность, никакой развязности. Валера поскромнее, взгляд пытливый, немного удивленный, Юрко побойчее, видать, первый парубок на селе... Что ж ему надо, интересно? И как удастся оторваться? Ведь вроде не полагается ходить

в одиночку. Да еще в таком злочном городе, где на каждом шагу соблазны... А может, надо было с ними поехать? Задержаться там где-нибудь возле макак и мартышек и поговорить с парнем...

Побродив по старому городу, Альтштадту, попив кофейку в уютном, старомодном кафе под каким-то Адлером, к половине одиннадцатого Карташов вернулся в ставшую уже "своей" "Акапулько". Толстый хозяин приветливо улыбнулся и, не спрашивая, принес пива. - "Битте, товариштш!", "Данке шон, камрад!". Посмеялись.

Юрко, Юрко... Славный пацан. Молоко еще на губах не обсохло. Усики только-только пробиваются, как у гоголевского Андрея, морда совсем еще мальчишеская...

Появился он где-то около одиннадцати. Сразу же увидел - народу было уже много - и тут же подсел.

- Пива будешь?

- Буду...

- Так в чем же дело? - Карташов кивнул хозяину и показал два пальца.

- Сейчас... Пивца только, пить охота.

Принесли пиво и Юрко в три глотка осушил свою кружку.

- Как тебе удалось оторваться?

- Да просто... Алесеич свой дядька, не капнет. Сказал ему, что забыл портсигар в кафе. Поверил или не поверил, не знаю, но отпустил. Живо, говорит, одна нога здесь, другая там. А у меня особый портсигар, из кожи бегемота, дорогой, - он полез было в карман.

- Ладно. Потом о портсигаре... Что ты хотел?

Юрко часто заморгал, нервно погладил шелковистые свои усики.

- Дело вот в чем, Вадим Николаевич... Дело в том... У меня брат, видите ли, в плену.

- Как в плену?

- То есть уже не в плену.

- Ничего не понимаю.

- Сейчас объясню, - опять погладил усики, у него это было вроде тика, - старший брат, Микола. В армии. Послали в Афганистан... Ну, там и попал в плен... Мы долго от него ничего не имели. Родители, то есть. А я в рейсе был... Потом вернулся, а от него письмо, и знаете, откуда? Из Швейцарии... Красный Крест, что ли, устроил... Одним словом, где-то был в Швейцарии. Их там восемь хлопцев.

- Почему был?

- Потому что драпанул.

- Драпанул? Куда?

- Во Францию. Потому я к вам и...

- Понятно, понятно, - Карташов присвистнул. - И ты хочешь, чтоб я...

- Ну, не знаю, но... Может быть, вдруг, случайно... Фамилия Слипченко, Микола Слипченко... Микола Терентьевич...

- Ладно, - Карташов положил руку на руку Юрку, ему показалось, что та слегка дрожит. - Если что узнаю, как дать знать?



- Запишите адрес. Село Хатки, Полтавской области, Миргородского района. Слипченко Терентию Александровичу. Это батько...

- Ох, ты горе мое... - Карташов не вытерпел. - Будь они все прокляты, гады зажавшиеся. - Он встал. - Ладно, иди.

И посмотрев на Юрка, - тот тоже встал, кусая губы, - Карташову показалось, что в глазах его что-то заблестело. И вдруг порывисто, сам не поняв, как это произошло, шагнул и крепко обнял парня, прижал к себе.

- Спасибо, Вадим Николаевич. Спасибо! - по щекам его, совсем по-детски, текли слезы. - Вы мне... Для меня... Я никогда...

Он лихорадочно стал шарить по карманам, вынул что-то, положил на стол и вдруг исчез. Был и не стало. Только дверь выходная хлопнула, звеня стеклом.

На столе остался тот самый, как он сказал, дорогой портсигар из бегемотовой кожи. Такие точно продают негры в Париже, разложив на тротуаре своих божков, слоников и прочие, ходкие у туристов, сувениры. Эх, Юрко, Юрко...

Остаток дня провел с Хельмутом. Тот стал уже тревожиться, в полицию собирался сообщить - "телефонировать надо было, телефон есть, дал тебе". "А я не умею у вас, и сколько надо, не знаю". „Ох, голова, алкоголик..." И тут же вытащил из холодильника бутылку коньяка, - "продолжим нашу работу".

- Может, в Люненбург позвонить? - робко спросил Карташов, чувствуя свою вину.

- А они уже звонили. Я сказал о'кэй, завтра привезу.

- Ну, давай тогда...

Так и закончил Карташов свой день, тридцать восьмой День Победы... Начал с фрицем, им же и закончил.

О чем же говорили, чокаясь и обнимаясь? Да всё о том же... Ты не думай, что я... Да я и не думаю... Дело солдатское... У вас приказ, у нас бефель.. Выполний! Но я ни разу... Что ни разу? Хайль Гитлер? Не трепись. Я, вот, за Родину, за Сталина... Все кричали, все думали, что... А получилось вот что... Ладно, получилось, не получилось, за Победу!.. За Победу...

А перед глазами Юркина морда, мокрая от слез... Эх, поговорить бы с тобой по душам, пацаненок. Юрко, морячок ты мой советский...